

Лев Толстой

# Исповедь (Планы и варианты)



Лев Толстой

**Исповедь (Планы и варианты)**

«Public Domain»

1879

**Толстой Л. Н.**

Исповедь (Планы и варианты) / Л. Н. Толстой — «Public Domain», 1879

ISBN 978-5-457-25628-6

«...Бывали у меня минуты раскаяния, попытки исправления, но широкий путь был слишком легок, и я шел по нем. В это время я был на войне – убивал, и в это же время я стал писать из тщеславия и гордости. В писаниях моих я делал то же самое, что и в жизни. Для того, чтобы иметь славу, для которой я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. – Сколько раз я ухитрялся скрыть в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого. Меня хвалили...»

ISBN 978-5-457-25628-6

© Толстой Л. Н., 1879

© Public Domain, 1879

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| № 1                               | 5  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 10 |

# Лев Николаевич Толстой

## Исповедь (Планы и варианты)

### № 1

### К главе I

Я родился от богатых родителей 4-м сыном большой семьи. Мать умерла, когда мне было 1 ½ года, и я не помню ее. Отец умер, когда мне было 9 лет. Как все мне говорили, и отец и мать моя были хорошие<sup>1</sup> люди – образованные, добрые, благочестивые. После отца мы остались на попечении теток. Две тетки, на руках которых мы были сначала, были очень добрые, благочестивые женщины. Третья тетка, под опеку которой мы перешли, когда мне было 12 лет, и которая перевезла нас в Казань, была тоже добрая женщина (так все знавшие ее говорили про нее) и очень набожна, так что кончила жизнь в монастыре, но легкомысленная и тщеславная. В Казани под ее влиянием я поступил в университет, пробыл три года и вышел, сделавшись независимым, и приехал в доставшуюся мне деревню. Воспитан я был в православной христианской вере. Меня учили ей и о детстве, и готовя к экзамену, и в университете. Но в 20 лет уже, сколько мне помнится, ничего не оставалось из моих верований, если только можно так назвать то, чему меня учили в детстве и в школе. Помню, что когда мне было лет 11, один мальчик, товарищ, бывший в гимназии, объявил нам раз, что бога нет, и мы все приняли это известие, как что-то новое, интересное и весьма возможное, хотя и не поверили ему. Помню потом, что весной, в день первого моего экзамена в университет, я, гуляя по Черному Озеру, молился богу о том, чтобы выдержать экзамен, и, заучивая тексты катехизиса, ясно видел, что весь катехизис этот – ложь. Не могу сказать, когда я совсем перестал верить<sup>2</sup>. Отречение от веры произошло во мне, мне кажется по крайней мере, несколько сложнее, чем, как я вижу, оно происходит поголовно во всех умных людях нашего времени<sup>3</sup>. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так, что знания самые разнообразные и даже не философские – математические, естественные, исторические, искусства, опыт жизни вообще (нисколько не нападая на вероучение) своим светом и теплом незаметно, но неизбежно растапливают искусственное здание вероучения. Вероучение же это не участвует в жизни<sup>4</sup>, не служит руководителем жизни, человеку в жизни никогда не приходится справляться с ним, и он сам не знает, что оно цело у него или нет; и в сношениях с другими людьми человеку никогда [не] приходится сталкиваться с этим учением, как с двигателем жизни. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением. По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда никак нельзя узнать, православно-верующий он или нет. Даже напротив в большей части случаев: нравственная жизнь, честность, правдивость, доброта к людям встречались и встречаются чаще в людях неверующих. Напротив, признание своего православия и исполнение наглядное его обрядов большей частью встречается в людях безнравственных, жестоких, высокопоставленных, пользующихся насилием для своих похотей – богатства, гордости, сластолюбия. Без исключения

---

<sup>1</sup> Зачеркнуто: прекра[сные]

<sup>2</sup> Зачеркнуто: именно потому, что желание быть лучше, никогда не оставлявшее меня, заставляло меня искать руководства, и руководство это я находил в вере, а свойство моего ума, допытывающегося до всего, давно уже отбросило ложь и бессмыслицу, встреченную в вероучении.

<sup>3</sup> Зачеркнуто: Оно произошло не так, как оно произошло с братом моим Сергеем, умным, хорошим человеком, но не имеющим <расположения> и пытливости ума

<sup>4</sup> Зачеркнуто: ни на один волос

все люди власти того времени, да и теперь тоже, искренно или неискренно исповедовали и исповедуют православие. Так что в жизни, как руководство к нравственному совершенствованию, православная вера не имеет никакого значения; она только внешний признак. Даже само православие в связи с властью чувствовало и чувствует это. Оно требовало тогда и теперь требует внешнего исполнения обряда. В школах учат катехизису, гоняют учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельства в бытии у причастия.

Так что, как теперь, так и прежде, вера детская, вместе с насильно напущенными вероучениями, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучений, и когда приходится человеку вспомнить об этом вероучении, вдруг оказывается, что на том месте, где оно было, уже давно пустое место. Мне рассказывал мой брат, умный и правдивый человек. Лет 26-ти уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой с детства привычке, стал вечером на молитву. Это было на охоте. Старший наш брат Николай лежал уже на сене и смотрел па него. Когда Сергей кончил и стал ложиться, Николай сказал ему: «А ты еще всё делаешь этот намаз?» И больше ничего они не сказали друг другу. Брат Сергей с этого дня перестал становиться на молитву и ходить в церковь. И вот 30 лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он поверил брату, а потому, что это было указание па то, что у него уже давно ничего не оставалось от веры, а что оставались только бессмысленные привычки. Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования и говорю о людях правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Это – люди самые коренные неверующие; потому что если вера для него средство для власти, для денег, для славы, то она уже не вера.) Люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни уже растопил искусственное здание вероучения, но они еще не заметили этого, или уже разъел, и они заметили и не то что отбросили – отбрасывать нечего, – а освободили место, или еще не заметили этого. Такая была та самая тетушка, которая воспитывала нас в Казани. Она всю жизнь была набожна. Но когда 80-тя лет она стала умирать, то она не хотела причащаться, боясь смерти, сердилась на всех<sup>5</sup> за то, что она страдает и умирает, и, очевидно, тут только, перед смертью, поняла, что всё то, что она делала в жизни, было не нужно.

Искусственное здание вероучения исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, которая бывает у людей пытливого ума, склонных к философии. Я с 16 лет начал заниматься философией, и тотчас вся<sup>6</sup> умственная постройка богословия разлетелась прахом, как она по существу своему разлетается перед самыми простыми требованиями здравого смысла, так что умственно неверующим я стал очень рано; очень рано очистил то место, на котором стояло ложное здание. Но<sup>7</sup> какая-то религиозная любовь к добру, стремление к нравственному совершенствованию жили во мне очень долго. Не могу сказать, чтобы эти стремления основывались на детской моей вере (я не мог и не могу этого знать, я не думаю этого, потому что руководства в нравственном совершенствовании я искал не в духовной письменности, даже не в Евангелии: ложь, бессмыслица всего вероучения отталкивала меня от всего того, что только связывалось с ним, – но в светской, древней и новой письменности); но не могу и отрицать того, чтобы это не было последствием моей детской веры. На чем бы оно ни было основано, но первые 10 лет моей молодой жизни прошли в этом стремлении к совершенствованию. И это искание и борьба составляли главный интерес всего того времени. У меня еще сохранились дневники всего того времени, ни для кого не интересные, с Франклиновскими таблицами, с правилами, как достигать совершенства.

<sup>5</sup> Зачеркнуто; на судь[бу]

<sup>6</sup> Зачеркнуто: шутовская

<sup>7</sup> Зачеркнуто: детская вера чувства

Это продолжалось 10 лет, если не больше; но со временем стремление стало тухнуть, тухнуть и совсем потухло. Даже и этого стремления не осталось: оно заменилось другим, и я остался без всякого руководства в жизни.

Прежде чем сказать о том, что заменило это стремление, я не могу не вспомнить о трогательном, жалком положении, в котором я находился в эти 10 лет. — Когда-нибудь я расскажу подробно историю моей жизни и трогательную, поучительную историю этих 10 лет. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всей душой желал быть хорошим, готов был на всё, чтобы быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, и я был один, совершенно один, с своими стремлениями. Я был смел, но всякий, всякий раз, когда я пытался выказать то, что было во мне хорошего, я встречал презрение и насмешку, как только я отдавался самым гадким страстям, меня принимали в открытые объятия. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие — это всё уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, меня уважали. Добрая тетюшка всегда говорила мне, что она ничего не желала так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужней женщиной: *rien ne forme un jeune home comme une liaison avec une femme comme il faut*<sup>8</sup>; и чтобы я был адъютантом, лучше всего государя, и чтобы у меня было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Не было пороков, которым бы я не предавался в эти года, не было преступления<sup>9</sup>, которого бы я не совершил. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство, я всё совершал, а желал одного добра; и меня считали и считают мои сверстники сравнительно очень нравственным человеком. Я жил в деревне, пропивая, проигрывая в карты, проедаю труды мужиков, казнил, мучал их, блудил, продавал, обманывал, и за всё меня хвалили. И, без исключения презирая меня, смеялись надо мной за всё, что я пытался делать хорошего. И я делал одно дурное, любя хорошее.

Так я жил 10 лет. Бывали у меня минуты раскаяния, попытки исправления, но широкий путь был слишком легок, и я шел по нем. В это время я был на войне — убивал, и в это же время я стал писать из тщеславия и гордости. В писаниях моих я делал то же самое, что и в жизни. Для того, чтобы иметь славу, для которой я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. — Сколько раз я ухитрялся скрыть в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого. Меня хвалили.

28 лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли, как своего, льстили мне. И я не успел оглянуться, как сословный взгляд на жизнь людей, с которыми я сошелся, усвоился мною и заменил почти мои прежние стремления к совершенствованию. Я говорю: почти, потому, что хотя и не было прежнего стремления к совершенствованию, в минуты, спокойные от страстей, и в этот новый период<sup>10</sup> я смутно чувствовал, что живу не так, и искал чего-то. Я уже не писал дневников Франклиновских, не обсуживал свои поступки, не раскаивался, и жизнь моя не казалась мне дурною. Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы — художники, поэты. Наше призвание учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю? и чему же мне учить? — в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать. А что художник, поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом. И потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я, художник, поэт, писал, учил, сам не зная чему. Мне за

<sup>8</sup> ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной

<sup>9</sup> Зачеркнуто: кажется, кроме убий[ства]

<sup>10</sup> Зачеркнуто: не был никогда совсем спокоен

это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. И я довольно долго – года три – наивно верил этому. Но чем дольше я жил в этих мыслях, тем чаще мне стали приходить сомнения. Вера эта в развитие жизни и искусство, поэзию была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно, но у меня было достаточно способности отвлеченной мысли и наблюдательности, чтобы усомниться в вере; тем более, что жрецы этой веры не все были согласны. Одни говорили: так надо совершать таинства, а другие – иначе. Спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали. Кроме того, было много между жрецами людей не верующих в веру, а просто достигающих своих целей корыстных с помощью этой веры. Почти все жрецы были люди самые безнравственные и большинство – люди плохие, ничтожные по характерам, – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней, разгульной военной жизни. А гордости была бездна. Люди мне опротивили, и я понял, что это ложь.

Но странно то, что хотя всю эту ложь я понял скоро и отрекся от их веры, но чин, данный мне этими людьми – художника, поэта, учителя – от этого чина я не отрекся. Я наивно воображал, что я – поэт, художник, и могу, не зная ничего, учить всех, сам не зная чему. И так и делал. Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – гордость и иначе не могу назвать, как сумасшествие – уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему. Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно. Именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших. Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить, говорить, писать, печатать, как можно скорей, как можно больше, что всё это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других и не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: как – так или не так сделать? мы не знаем, что ответить, и что мы все, не слушая друг друга, все в раз говорим, точно так, как в сумасшедшем доме. Тысячи работников работали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, и мы всё еще больше и больше учили, учили и учили, и никак не успевали всему научить, и все сердились, что нас мало слушают. Иначе нельзя назвать этого, как сумасшествием, пьянством болтовни.

Ужасно странно; но теперь мне понятно. Один из главных догматов той веры был, что всё развивается, что просвещение благо. Просвещение измеряется распространением книг, газет. Что из столкновения выходит истина, что всё, что есть, то разумно; а нам платят деньги, и нас уважают за это, то как же не учить?

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой нет; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, называл всех сумасшедшими, кроме себя. С этого времени я подпал этому сумасшествию – учить, сам ничего не зная. И, как я теперь думаю, я особенно горячо старался учить именно потому, что я чувствовал, что ничего не знаю, боялся этого незнания и учительством старался заглушить в себе ужас незнания, предаваясь этой страсти учительства еще 6 лет, до моей женитьбы. Учительство в это время приняло во мне особое направление. Мои сотоварищи журналисты стали мне противны, я видел их слабости, видел, что им нечему учить, но в себе того же не видел. И тут я попал на занятия крестьянскими школами. Я полюбил это занятие в особенности потому, что у меня была смутная точка опоры, с которой я мог учить и отрицать учителей журналистов. Что моя точка опоры была смутная, это было не беда, потому что их точка опоры была еще смутнее. И я стал учить и народ и образованных всех. Но всё время я чувствовал, что я не совсем умственно здоров, и долго и это не могло продолжаться. И я бы тогда, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в 50 лет, если бы во мне не было еще одной основы жизни, поддерживавшей меня в то время, – это было представление о семейной жизни и любви к воображаемой жене. Мечты о семейной жизни, любви к жене не оставляли меня всю мою молодость с 15 лет. Но теперь они стали еще сильнее. И я женился.

Новые условия жизни, влияние хорошей жены опять дали мне отдых. Сумасшествие мое учительства продолжалось, я писал женатый, успех моих книг радовал меня. Но главный смысл моей жизни за это время была семья, заботы о увеличении средств жизни [с] семьей, о жене, детях. Так прошло еще 10 лет. У меня росли хорошие дети, и тут после 10 лет я понемногу стал опоминаться, страсть моя учительства стала слабеть, и я стал спрашивать себя: чему же учу? И оказалось, что я всех могу научить, а решительно не знаю, чему учить своих детей, решительно не знаю, что я такое, зачем я живу, что хорошо, что дурно; и на меня стали находить сначала минуты отчаяния, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать. Сначала находили только минуты, в жизни же отдавался прежним привычкам, учил так же, но потом чаще и чаще, и потом, в то время как я писал, кончал свою книжку Анна Каренина, отчаяние это дошло до того, что я ничего не мог делать, как только думать, думать о том ужасном положении, в котором я находился.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.